



КУРТ

ВОННЕГУТ

МАТЕРЬ ТЬМА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Курт Воннегут

Матерь Тьма

«Издательство АСТ»

1962

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Воннегут К.

Матерь Тьма / К. Воннегут — «Издательство АСТ»,
1962 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

Один из лучших, самых глубоких и страстных романов Курта Воннегута – роман, неожиданно для него простой и реалистичный по форме. История Говарда Кэмпбелла – героя и преступника, американского писателя, живущего в гитлеровской Германии, разведчика, вынужденного выдавать себя за ярого нациста и вести пропагандистские передачи на радио. Можно ли во имя победы добра служить злу? Проповедовать насилие, даже если знаешь, что в конечном итоге это поможет прервать смертельный ход безжалостной машины для убийства? Где грань между Светом и Тьмой и как удержаться на этой грани? Курт Воннегут задает себе и всем нам один из вечных вопросов, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

Содержание

Вступление	6
От редактора	8
Исповедь Говарда У. Кэмпбелла-младшего	10
Глава 1	10
Глава 2	12
Глава 3	13
Глава 4	15
Глава 5	16
Глава 6	18
Глава 7	19
Глава 8	21
Глава 9	23
Глава 10	27
Глава 11	29
Глава 12	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Курт Воннегут Матерь Тьма

Kurt Vonnegut
MOTHER NIGHT

Печатается с разрешения издательства Dial Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC и литературного агентства Nova Littera SIA.

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD. **Copyright © 1961, 1966 by Kurt Vonnegut. Copyright renewed © 1989, 1994 by Kurt Vonnegut. All rights reserved**

© Kurt Vonnegut, Jr., 1961, 1966
© Перевод. В. Бернацкая, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Посвящается Мата Хари

Где тот мертвец из мертвых,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»
В чьем сердце не забрезжит свет,
Кто не вздохнет мечте в ответ,
Вновь после странствий многих лет
На почву родины вступая?

*Вальтер Скотт. Песнь последнего менестреля.
Песнь шестая¹.*

¹ Перевод Т. Гнедич. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Вступление

Это единственная моя история, из которой можно вынести мораль. Я не думаю, что она отличается какой-то особой новизной, но все же решил поделиться ею: мы – те, кем притворяемся, и потому нужно очень тщательно продумывать образ, который мы на себя берем.

Мое личное знакомство с нацистскими «штучками» весьма ограничено. В тридцатые годы в моем родном городе Индианаполисе были мерзкие и энергичные типы, называвшие себя американскими фашистами, и, помнится, один из них подсунил мне экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», из которого следовало, что у евреев существует секретный план завоевания мира. И еще я помню насмешки над моей тетушкой. Она вышла замуж за подлинного немца из Германии, и потому ей пришлось писать в Индианаполис, требуя подтверждения, что в ней нет еврейской крови. Наш мэр знал тетушку в школьные времена и даже посещал с ней вместе танцевальный класс, поэтому он с удовольствием украсил затребованные немецкими властями документы многочисленными ленточками и печатями, после чего они стали напоминать мирный договор восемнадцатого века.

Вскоре началась война, меня призвали в армию, я попал в плен, и пока боевые действия продолжались, смог кое-что узнать о Германии изнутри. Я служил рядовым в батальонной разведке и, согласно Женевской конвенции, должен был содержать себя сам, что было скорее хорошо: мне не приходилось постоянно сидеть в тюрьме где-то за городом. Я ездил в город, в Дрезден, видел людей и их жизнь.

В нашей группе было человек сто, мы работали по контракту на фабрике, изготавливавшей насыщенный витаминами солодовый напиток для беременных. Он напоминал жидкий мед с ореховым привкусом. Хотелось бы сейчас его попробовать. И сам город был красив – изысканный, как Париж, и совершенно не тронутый войной. Возможно, он считался нейтральным городом, который нельзя было бомбить: ведь в нем не стояли войска и отсутствовали заводы.

Но в ночь на 13 февраля, примерно двадцать один год назад, американские и британские самолеты сбросили на Дрезден фугасные бомбы. У летчиков не было определенных мишеней. Цель была в том, чтобы создать очаги пожара, а пожарных загнать под землю. А потом на город посыпались сотни тысяч мелких зажигательных бомб – они падали как семена на свежеспаханную землю. Их бросали, чтобы пожарные не высывались из укрытий, и все мелкие огни соединялись и сливались до тех пор, пока не превратились в огромное апокалиптическое пламя. И вот – огненная буря. Это, кстати, была величайшая бойня в европейской истории. Ну, и кому до этого дело?

Мы не удосужились стать свидетелями разгулявшейся огненной стихии, поскольку находились в сопровождении шести охранников в прохладном хранилище под скотобойней среди рядов освежаванных бычьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Слышали, как над нами рвались бомбы. Иногда с потолка сыпалась штукатурка. Выгляни мы на улицу – сразу погибли бы.

В результате обстрела люди превращались в обугленные головешки в два-три фута длиной или, если вам так больше нравится, в огромных жареных кузнечиков.

Фабрику по производству солодовых напитков стерли с лица земли. Всю, кроме подвалов, где Гензели и Гретели в количестве 135 000 испеклись, как пряничные человечки. Нас направили искать убежища, откапывать трупы и выносить их наверх. Там я увидел много немцев самого разного возраста в том положении, когда их настигла смерть. На коленях они обычно держали ценности. Иногда за нашими раскопками наблюдали родственники. Они тоже были по-своему интересны.

Вот и все, что связывает меня с нацистами.

Если бы я родился в Германии, то мог бы стать нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя в снегу ботинки и согреваясь от мысли, что творю благое дело. Такие дела!

Сейчас, когда я обо всем этом думаю, еще одна истина открывается мне: если уж вы мертвы, то мертвы. Но и она не последняя: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам только на пользу.

Айова-Сити, 1966.

От редактора

Готовя американское издание «Исповеди Говарда У. Кэмпбелла-младшего», я имел дело с рукописью, в которой не просто излагались или извращались события. Кэмпбелл был писателем, а не только человеком, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, и одно время считался неплохим драматургом. А раз он являлся писателем, то одни лишь законы искусства могли заставить его лгать и не видеть в этом ничего дурного. Сочинительство пьес должно еще больше насторожить читателя, потому что нет более искусного лжеца, чем человек, который искажает жизнь и страсти других людей, давая им гротескное изображение на сцене.

Теперь, когда я начал говорить о лжи, риску пофантазировать и о той лжи, которая нацелена на создание художественного эффекта. В театре, например, и, возможно, в исповеди Кэмпбелла она становится – в высшем смысле – наиболее притягательной формой правды.

Конечно, со мной как с редактором можно не соглашаться. Полемика не в моем вкусе. Просто в меру своих сил я старался точно передать исповедь Кэмпбелла.

Что до моей правки, то она практически отсутствует. Кое-где я исправил ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и внес курсив.

Я также изменил некоторые имена, чтобы избавить от смущения и неловкости еще живущих и ни в чем не повинных людей. Так, имена Бернарда Б. О'Хара, Гарольда Дж. Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Также выдуман личный номер Спэрроу и название, какое я дал в тексте отделению Американского легиона², не существует и отделение Френсиса Х. Донована в бруклинском Американском легионе.

Мою скрупулезность можно лишь однажды подвергнуть сомнению. Это касается Главы 22, в которой Кэмпбелл цитирует три свои стихотворения на английском и немецком языках. В рукописи английские варианты абсолютно понятны. Что касается немецких, то Кэмпбелл воспроизвел их по памяти, и они до такой степени пестрят переделками, что невероятно трудны для чтения. Кэмпбелл больше гордился своими сочинениями на немецком языке и довольно равнодушно относился к тем, что написаны на английском. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переписывал немецкие варианты – они его не удовлетворяли.

Желая приблизиться к исходному немецкому варианту, я решил проделать тщательную работу по его воссозданию. Выполнила это ювелирное задание, собрав, так сказать, вазу из осколков, миссис Теодор Роули из Котуита, штат Массачусетс, блестящий лингвист и сама уважаемая поэтесса.

Значительные сокращения я сделал только в двух местах. В главе 39 убрал кое-что по требованию издательского юриста. В оригинале у Кэмпбелла один из Железных гвардейцев³ из организации «Белые сыновья американской конституции» кричит немцу: «Я больше американец, чем ты! Мой отец придумал “День гражданина”!» По утверждению свидетелей, подобное заявление действительно было сделано, но без особых оснований. Юрист полагал, что воспроизведение в тексте этого выкрика может оскорбить тех, кто действительно придумал «День гражданина».

Кстати, в той же самой главе Кэмпбелл, по словам очевидцев, предельно точно передает сказанное. Все сходится на том, что предсмертные слова Рези Нот воспроизведены верно.

Еще одно сокращение я сделал в главе 23, которая в оригинале порнографична. Я счел бы за честь привести главу полностью, если бы сам Кэмпбелл не попросил прямо в тексте редактора о некоей ее кастрации.

² Военно-патриотическая организация ветеранов Первой мировой войны.

³ Герой американских комиксов.

Название записок принадлежит Кэмпбеллу, оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, который в переводе звучит следующим образом:

«А я – лишь части часть, которая была
В начале всей той Тьмы, что свет произвела,
Надменный свет, что спорить стал с рожденья
С могучей ночью, Матерью творенья.
Но все ж ему не дорасти до нас!
Что б он ни породил, все это каждый раз
Неразделимо связано с телами,
Произошло от тел, прекрасно лишь в телах,
В границах тел должно всегда остаться,
И, право, кажется, недолго дожидаться –
Он сам развалится с телами в тлен и прах»⁴.

Посвящение тоже принадлежит Кэмпбеллу. Вот что он писал о нем в главе, от которой впоследствии отказался:

«Еще не зная, какой окончательно будет моя книга, я посвятил ее Мата Хари. В интересах шпионажа она торговала своим телом, нечто подобное делал и я.

Теперь, когда часть книги написана, я предпочел бы посвятить ее личности менее экзотической, не ставшей мифом, более современной, а не героиней немого кино.

Я посвятил бы ее человеку знакомому – мужчине или женщине, – известному своими злыми, безнравственными поступками, который, однако, считал бы при этом: «Настоящий я, добрый, сотворенный на небесах, глубоко запрятан внутри».

У меня перед глазами много подобных примеров, я мог бы перечислить их с быстротой песен-скаговорок Гилберта и Салливана⁵, однако ни один не подходит больше моего.

Тогда позвольте мне оказать себе честь и перепосвятить эту книгу Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, человеку, который слишком явно сеял зло и слишком тайно – добро, что в его время было преступлением.

Курт Воннегут-младший

⁴ Пер. Н. Холодковского.

⁵ Либреттист и композитор Викторианской эпохи.

Исповедь Говарда У. Кэмпбелла-младшего

Глава 1

Тиглатпаласар III⁶

Мое имя – Говард У. Кэмпбелл-младший. По рождению – американец, по репутации – нацист, по склонностям – человек мира. Эту книгу я пишу в 1961 году. Адресую ее мистеру Тувия Фридману, директору Института документальной информации о военных преступлениях, расположенного в Хайфе, а также тем, кого это может заинтересовать.

Почему моя книга может быть любопытна мистеру Фридману? Ее написал человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман – спец в подобных вопросах. Он жаждет любых свидетельств, какие пополнят архив нацистских злодеяний, и настолько раззадорился, что предоставил мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность пользоваться услугами научных ассистентов, которые найдут любые материалы, если те понадобятся для полноты и точности моей работы.

Я сижу в тюрьме.

Я сижу в прекрасной новой тюрьме в старом Иерусалиме. И жду справедливого суда государства Израиль за свои военные преступления.

Занятой пишущей машинкой наградил меня мистер Фридман – и вполне уместной. Она явно изготовлена в Германии во время Второй мировой войны. Откуда мне это известно? Нет ничего проще: на ее клавиатуре есть символ, который до Третьего рейха не ставился на пишущих машинках и впредь никогда не будет ставится. Эти тонкие, сдвоенные стрелы-молнии обозначали зловещие эсэсовские Schutzstaffel⁷, наиболее фанатичное крыло нацизма.

Всю войну я работал на такой машинке в Германии. Когда приходилось писать о Schutzstaffel, что я делал часто и с энтузиазмом, то не прибегал к аббревиатуре СС, а ударял по клавише с устрашающими и магическими сдвоенными молниями.

Древняя история.

Я в плену у древней истории. Камера, где я загниваю, новая, но, как мне сказали, некоторые камни здесь вырезаны во времена царя Соломона.

Когда смотрю сквозь тюремное окно на задорную и раскованную молодежь молодого государства Израиль, я ощущаю, что мои военные преступления, да и я сам, такие же древние, как серые камни царя Соломона.

Как давно была эта война – Вторая мировая война! Военные преступления канули в прошлое!

Все уже почти забыто, даже евреями, по крайней мере, молодыми.

Один из моих охранников ничего не знает об этой войне. Ему она неинтересна. Его зовут Арнольд Маркс. У него огненно-рыжие волосы. Арнольду всего восемнадцать лет. Значит, когда не стало Гитлера, он был трехлетним малышом, и его еще на свете не было, когда началась моя карьера военного преступника.

Арнольд охраняет меня с шести утра до полудня. Он родился в Израиле. И нигде больше не был.

Его родители уехали из Германии в начале тридцатых годов. Он рассказывал, что дед был награжден «Железным крестом» в Первую мировую войну.

⁶ Царь Ассирии; правил 745–727 гг. до н. э.

⁷ Охранные отряды (нем.).

Арнольд учится на юриста. У него с отцом, оружейником, есть общее хобби – археология. Значительную часть свободного времени отец и сын проводят на раскопках Хазора⁸. Они работают там под руководством Игаэля Ядина, который во время войны с арабами был начальником штаба израильской армии.

Так вот.

Арнольд говорит, что Хазор – канаанитский город в северной Палестине – существовал, по меньшей мере, девятнадцать столетий до Рождества Христова, а за четырнадцать столетий до Христа израильская армия захватила его, уничтожила сорок тысяч жителей и сожгла дотла.

– Соломон возродил город, – рассказывал Арнольд, – но в 732 году до н. э. Тиглатпаласар III снова сжег его.

– Кто? – спросил я.

– Тиглатпаласар III. Ассириец, – добавил он, желая подкачкой подстегнуть мою память.

– А, – протянул я. – Значит, Тиглатпаласар III.

– Складывается впечатление, что вы о нем никогда не слышали, – заметил Арнольд.

– Так оно и есть, – признался я, пожав плечами. – Это, видимо, ужасно.

– Ну, – сказал Арнольд, скорчив мину недовольного учителя, – мне кажется, его должен знать каждый. Возможно, это самый выдающийся ассириец.

– Неужели? – удивился я.

– Если хотите, я принесу вам о нем книгу, – предложил Арнольд.

– Любезно с твоей стороны. Но мне, наверное, лучше поразмышлять о великих ассирийцах позднее. Сейчас голова забита мыслями о выдающихся немцах.

– О ком именно?

– Последнее время я много думаю о своем прежнем шефе Пауле Йозефе Геббельсе.

Арнольд смотрел на меня непонимающе:

– О ком?

Я отчетливо почувствовал, как пески Святой земли подкрадываются ко мне, чтобы похоронить, и ощутил толстый слой праха, который однажды накроет меня прочным одеялом. Я знал, что надо мной тридцать или сорок футов разрушенных городов, а подо мной – куча кухонных отходов, один-два храма и Тиглатпаласар III.

⁸ Холм из остатков древних строений; расположен на севере Израиля.

Глава 2

Особая команда...

Ежедневно в полдень Арнольда Маркса сменял другой охранник, мужчина примерно моего возраста, а мне сорок восемь лет. Он хорошо помнит войну, но вспоминать о ней не любит.

Его зовут Андор Гутман. Это вялый, не слишком умный эстонский еврей. Два года он провел в Освенциме и неохотно признается, что только случай спас его от топки крематория.

– Меня как раз назначили в зондеркоманду, – сказал он, – когда пришел приказ от Гимmlера закрыть печи.

Зондеркоманда – особый отряд в Освенциме, поистине особый. Состоял он из заключенных, в чьи обязанности входило провожать обреченных людей в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда мертвые тела. После окончания работы уничтожались и члены зондеркоманды. Их преемники начинали с того, что убирали их останки. По словам Гутмана, многие сами вызывались служить в зондеркоманде.

– Почему? – удивился я.

– Если вы напишете книгу и в ней дадите ответ на этот вопрос, это будет великая книга.

– А сам ты знаешь ответ?

– Нет. Вот почему я заплатил бы любые деньги за книгу, где найду его.

– А у тебя есть предположения?

– Нет, – произнес он, глядя мне в лицо, – хотя я сам был из тех, кто просился в команду.

После этого признания Гутман ненадолго ушел. Он вспоминал Освенцим, время, которое он меньше всего любил вспоминать. Вернувшись, он сказал мне:

– По всему лагерю были развешаны громкоговорители, они не замолкали ни на минуту. Играла музыка. Знатоки говорили, что музыка часто была хорошая, иногда – самая лучшая.

– Интересно.

– Не было только музыки, написанной евреями. Это запрещалось.

– Естественно.

– Музыку всегда обрывали посередине и делали объявления. Так продолжалось весь день – музыка и объявления.

– Как и сейчас, – заметил я.

Гутман закрыл глаза, словно связывая обрывки воспоминаний.

– Одно объявление всегда напевали вполголоса, как детскую песенку. Оно звучало часто. Так вызывали зондеркоманду.

– Вот как? – сказал я.

– *Leichentriger zu Wache*, – пропел он с закрытыми глазами. – «Уборщики трупов – на работу». В заведении, цель которого – уничтожение миллионов человеческих жизней, это звучит естественно. Если два года слышишь, как обрывается музыка и из громкоговорителя звучит этот призыв, работа уборщика трупов кажется не такой уж плохой.

– Понимаю, – промолвил я.

– Понимаете? – Гутман покачал головой. – А я вот понять не могу. Мне всегда будет стыдно, что я хотел добровольно идти в зондеркоманду. Очень стыдно.

– Я так не думаю.

– А я думаю. Стыдно. И больше не хочу об этом говорить.

Глава 3

Брикеты...

В шесть часов вечера Андора Гутмана неизменно сменяет Арпад Ковач – человек-фейерверк, шумный и веселый.

Вчера, заступив на службу, он потребовал, чтобы я показал ему все, что написал. Я дал ему последние страницы, и Арпад, размахивая ими, разгуливал по коридору, всячески расхваливая написанное.

Он не прочитал ни строчки, однако хвалил за то, что, по его мнению, там было.

– Врежьте этим слабакам! – воскликнул он вчера. – Расскажите, что думаете о самодовольных брикетах.

Под «брикетами» Арпад подразумевал людей, которые не сделали ничего для спасения своей жизни или жизни других людей, а покорно шли в газовые камеры, куда их гнали нацисты. На самом деле брикет – спрессованный блок угольной крошки, прекрасно приспособленный для перевозки, хранения и сжигания.

Когда у Арпада как у еврея возникли проблемы в нацистской Германии, он не стал «брикетом». Напротив, раздобыл фальшивые документы и вступил в венгерский отряд СС.

Это было основой его расположения ко мне.

– Расскажите им, что должен делать человек, чтобы выжить! Нет ничего почетного в том, чтобы оставаться «брикетом».

– Ты слышал мои радиопередачи? – спросил я.

Эти передачи и легли в основу обвинений против меня. Я был проводником нацистских идей, хитрым и мерзким антисемитом.

– Нет, – ответил Арпад.

Я показал ему текст радиопередачи, предоставленный мне институтом в Хайфе.

– Прочитай, – сказал я.

– А чего читать? – отозвался он. – Тогда все твердили одно и то же – снова, и снова, и снова.

– Все-таки прочитай – сделай одолжение, – попросил я.

Пока Арпад читал, его лицо мрачнело. Вернув бумаги, он произнес:

– Вы меня разочаровали.

– Неужели?

– Слабый текст. Ни стержня, ни изюминки, ни энергии. А я думал, вы источаете расовую ненависть.

– Разве нет?

– Если кто-нибудь из нашего ээсовского отряда так дружелюбно отозвался бы о евреях, я расстрелял бы его за измену. Геббельсу следовало бы прогнать вас и нанять меня – уж я бы постарался! Разнес бы их в пух и прах!

– Вы и так не дремали в СС, – заметил я.

Арпад засветился от счастья, вспомнив свои дни в СС.

– Какой из меня получился ариец! – похвастался он.

– И никто тебя не заподозрил?

– Кто бы посмел? Я был такой неподдельный, устрашающий ариец – меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, как евреи заранее узнают, что именно собираются предпринять ээсовцы. Была явная утечка информации, и с этим надо было кончать. – Вид у него был расстроенный и обиженный, несмотря на то, что именно он являлся этим «кротом».

– Ну и как? Справился отдел с задачей?

- Мне приятно сообщить, что по нашей наводке расстреляли четырнадцать эсэсовцев. Сам Адольф Эйхман⁹ поздравил нас.
- Ты видел его? – спросил я.
- Да, но тогда, к сожалению, не знал о его важной миссии.
- Ну и что?
- Я убил бы его.

⁹ Сотрудник гестапо, непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев.

Глава 4

Кожаные ремни...

Бернард Менгель, польский еврей, тоже примерно моего возраста, дежурит в тюрьме с полночи до шести часов утра. Во время Второй мировой войны он спас себе жизнь, прикинувшись мертвым, и, когда немецкий солдат вырвал у него три зуба, думая, что перед ним труп, даже не пошевелился. Солдат позарился на золотые зубы Менгеля. И он их получил.

По словам Менгеля, в камере я сплю беспокойно – всю ночь мечусь и разговариваю во сне.

– Вы единственный человек, – сказал он этим утром, – кого мучает совесть за военное прошлое. Все остальные – безразлично, на чьей стороне они были и чем занимались, – считают, что порядочные люди не могли поступать иначе.

– А с чего ты взял, что меня мучает совесть?

– Иначе вы спали бы не так беспокойно, – ответил он. – Даже у Хесса сон был лучше. Да самого конца он спал, как ангел.

Менгель имел в виду Рудольфа Франца Хесса, коменданта Освенцима. Это из-за его отеческой заботы миллионы людей погибли в газовой камере. Менгель знал кое-что о Хессе. Перед тем как эмигрировать в Израиль в 1947 году, он помог повесить Хесса. И сделал это не с помощью свидетельских показаний, а своими двумя большими руками.

– Когда Хесса вешали, – рассказывал Менгель, – я затянул его ноги ремнями потуже.

– Тебе это доставило удовлетворение? – спросил я.

– Нет, – ответил он, – ведь я не отличался от других, прошедших эту войну.

– Что ты имеешь в виду?

– Я столько всего испытал, что стал бесчувственным. Мне было безразлично, что делать; казалось, каждая работа – не лучше и не хуже иной. После того как мы повесили Хесса, я собрал свои вещички, чтобы вернуться домой. На чемодане сломался замок, и тогда я затянул его большим кожаным ремнем. Дважды за час я выполнил одну и ту же работу – сначала с Хессом, а потом со своим чемоданом. И то и другое делал с полнейшим равнодушием.

Глава 5

Последняя полная мера...

Я тоже знал Рудольфа Хесса, коменданта Освенцима. Познакомился с ним в Варшаве на приеме в честь Нового, 1944 года. Хесс слышал, что я писатель, и, отведя меня в сторону, признался, что хотел бы уметь сочинять.

– Как я завидую вам, творческим людям, – сказал он. – Способность творить – дар богов.

По его словам, он мог бы рассказать потрясающие истории. Все они правдивы до последнего слова, но люди неспособны поверить в них.

Он не может поведать об этом до конца войны. А когда война закончится, мы могли бы стать соавторами, сказал Хесс.

– Рассказывать я умею, а писать – нет. – Хесс посмотрел на меня, ища участия. – Когда сажусь за машинку, я словно скованный.

Что я делал тогда в Варшаве? Меня послал туда мой шеф, рейхсляйтер, доктор Пауль Йозеф Геббельс, глава германского Министерства народного просвещения и пропаганды.

У меня был небольшой опыт драматурга, и доктор Геббельс хотел, чтобы я применил его. Надо было написать пьесу, прославлявшую немецких солдат, которые до конца демонстрировали свою преданность и погибли при подавлении восстания евреев в Варшавском гетто.

Доктор Геббельс мечтал о ежегодном пышном зрелище после войны в Варшаве в честь этого события и предполагал сохранить остатки гетто как декорации к спектаклю.

– А евреи будут участвовать в представлении? – спросил я.

– Конечно, тысячи, – ответил Геббельс.

– А позвольте поинтересоваться, где вы отыщете после войны евреев?

Он оценил юмор.

– Хороший вопрос, – сказал он, хихикнув. – Надо будет обсудить его с Хессом.

– С кем? – Знакомство в Варшаве с братцем Хессом еще не состоялось.

– Он управляет небольшим курортом для евреев в Польше, – пояснил Геббельс. – Нужно попросить его сохранить для нас немного евреев.

Может, к списку моих военных преступлений еще прибавили и эту жуткую пьесу? Нет, слава Богу! Дело не пошло дальше рабочего названия «Последняя полная мера».

Хочу признаться, что я, наверное, написал бы ее, если бы имел достаточно времени и на меня надавило бы начальство.

На самом деле я почти во всем готов признаться.

Что касается этой пьесы: неожиданным результатом явился интерес Геббельса, а затем и самого Гитлера к произнесенной в Геттисберге речи Авраама Линкольна. Геббельс спросил, откуда я взял рабочее название пьесы, и тогда я перевел для него Геттисбергскую речь. Он прочитал ее, шевеля губами.

– Знаете, – произнес Геббельс, – эта речь – блестящий пример пропаганды. Мы не так далеко ушли от прошлого, как хочется думать.

– На моей родине это очень известная речь, – заметил я. – Каждый школьник обязан знать ее наизусть.

– Вы скучаете по Америке?

– Скучаю по ее горам, рекам, просторным равнинам, лесам. Но когда там правят бал евреи, я не могу быть счастливым.

– В свое время о них позаботятся, – утешил меня Геббельс.

– С нетерпением жду этого – как и моя жена, – отозвался я.

– Как она? – спросил он.

– Благодарю вас, цветет.

- Красивая женщина.
- Обязательно передам жене ваши слова. Ей будет приятно.
- А что касается речи Авраама Линкольна...
- Да?

– Там есть слова, которые можно было бы с успехом произносить на немецких военных кладбищах, – сказал он. – Честно говоря, я не в восторге от большинства наших надгробных речей. А здесь есть именно недостающие размах и величие. Хотелось бы послать эту речь Гитлеру.

- Поступайте, как сочтете нужным.
- А Линкольн не был евреем? – уточнил Геббельс.
- Уверен, нет.
- Я попал бы в неловкое положение, если бы оказалось, что он еврей.
- Никогда даже не слышал о подобном предположении, – заверил я.
- Настораживает подозрительное имя Авраам.

– Думаю, родители не знали, что это еврейское имя. Им просто понравилось, как оно звучит. Это были простые люди с пограничных земель. Знай родители, что имя еврейское, дали бы сыну американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фреда.

Через две недели Гитлер вернул Геттисбергскую речь. Сверху была прикреплена записка от самого фюрера. «В некоторых местах я чуть не прослезился. Все северные народы едины в своем преклонении перед солдатами. Возможно, это нас больше всего сближает».

Странно, но мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Хесс, ни Геринг, или кто-либо другой из кошмарных деятелей войны под номером «два». Мне снились женщины.

Я спросил у Бернарда Менгеля, который сторожил меня в ночные часы здесь, в Иерусалиме, не догадывается ли он, какие я вижу сны.

- Прошлой ночью? – спросил он.
- Любой, – ответил я.
- Прошлой ночью вам снились женщины. Вы повторяли два имени.
- Какие?
- Одно – Хельга.
- Это моя жена, – объяснил я.
- А другое – Рези.
- Младшая сестра жены. Просто имена – и ничего больше?
- Вы сказали: «Прощайте».
- Прощайте, – повторил я. В этом был смысл. Во сне или наяву – Хельга и Рези ушли навсегда.

– Еще вы называли Нью-Йорк, – добавил Менгель. – Сначала говорили что-то невнятное, потом четко произнесли «Нью-Йорк» и снова забормотали.

И в этом тоже был смысл, как и во всем, что мне снилось. До Израиля я долго жил в Нью-Йорке.

- Нью-Йорк, наверное, настоящий рай, – мечтательно произнес Менгель.
- Для тебя – возможно, – ответил я. – Но для меня это был ад. Даже не ад, а нечто похуже.
- Что может быть хуже ада? – удивился он.
- Чистилище.

Глава 6

Чистилище

Что касается «чистилища» в Нью-Йорке: я томился там пятнадцать лет.

Я исчез из Германии в конце Второй мировой войны и вынырнул, неузнанным, в Гринич-Виллидж. Здесь я снял унылую квартирку под самой крышей, где крысы пищали и скреблись в стены. Я жил в ней, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда.

И все-таки на моем мерзком чердаке не все было так отвратительно. Из заднего окна виднелся частный садик, крошечный уголок рая, огороженный со всех сторон от улиц прилегающими дворами и домами. Его хватало детям для игры в прятки. Часто из этого миниатюрного рая доносился детский крик, и каждый раз я останавливался и прислушивался. Этот нежный, печальный крик означал, что игра в прятки завершилась, и те, кого не нашли, должны выйти из укромных мест – пора идти домой.

«Раз, два, три – нет игры!»

И я, который скрывался от многих, жаждавших моей крови, часто мечтал, чтобы такой нежный, мелодичный крик раздался и для меня, положив конец бесконечной игре в прятки: раз, два, три – нет игры!

Глава 7

Автобиография

Я, Говард У. Кэмпбелл-младший, родился 16 февраля 1912 года в Шенектади, штат Нью-Йорк. Мой отец, родом из Теннесси, сын баптистского священника, работал инженером в отделе технического обслуживания компании «Дженерал электрик». В обязанности отдела входила установка, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, поставляемого в разные части света. Мой отец, разъезжавший сначала только по территории Соединенных Штатов, редко бывал дома. Работа требовала от него таких многообразных технических знаний и умений, что он тратил на нее все свое время и воображение. Отец был создан для работы, а работа – для него.

В его руках я видел только одну книгу, не имевшую отношения к технике, – «Историю Первой мировой войны в иллюстрациях». В этой большой книге иллюстрации были размером фут на полтора. Похоже, отцу никогда не надоедало ее рассматривать, хотя на самой войне он не был.

Отец никогда не говорил мне, что значит для него эта книга, а я не спрашивал. Упомянул однажды, что книга не для детей, и я не должен в нее заглядывать. Но я, конечно, заглядывал – всякий раз, когда оставался дома один. Там были изображены люди, повисшие на колючей проволоке, изуродованные женщины, штабеля трупов – обычные приметы мировых войн.

Моя мать, урожденная Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианаполиса. Она была домохозяйкой и виолончелисткой-любительницей, играла в городском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже стал музыкантом. Но виолончелист из меня не вышел, потому что мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.

У меня не было ни братьев, ни сестер, а отец постоянно отсутствовал. Поэтому много лет я оставался единственным компаньоном матери. Она была красивая, талантливая, психически не совсем здоровая женщина. Думаю, значительную часть времени она была под хмельком. Помню, однажды мать наполнила блюдце смесью алкоголя и столовой соли. Блюдце поставила на кухонный стол, выключила свет и усадила меня напротив. Затем мать поднесла к смеси зажженную спичку. Вспыхнувшее натриевое пламя было почти желтым; при таком свете она выглядела трупом, как и я.

– Вот так, – сказала мать, – мы будем выглядеть после смерти.

Это странное действие произвело глубокое впечатление не только на меня, но и на нее. Мать испугалась собственной эксцентричности, и с той поры я перестал быть ее компаньоном. После этого случая она почти не разговаривала со мной – не сомневаюсь, ее отчуждение возникло из-за страха сделать или сказать что-нибудь еще более странное.

Все это произошло в Шенектади, тогда мне было около десяти лет.

В 1923 году, когда мне исполнилось одиннадцать, отца послали работать в Германию – в берлинское отделение «Дженерал электрик». С тех пор мое образование, друзья, основной язык – все стало немецким.

Со временем я стал писать на немецком языке пьесы, женился на немецкой актрисе Хельге Нот – старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции. Мои родители уехали из Германии в 1939-м, когда началась война. Мы с женой остались.

До окончания в 1945 году войны я зарабатывал на жизнь как автор и диктор нацистских пропагандистских передач, вещая на англоязычные страны. Я был ведущим экспертом по Америке в Министерстве народного просвещения и пропаганды. После войны оказался в первых рядах военных преступников, главным образом потому, что мои преступления свершались до неприличия открыто.

12 апреля 1945 года близ Герсфельда меня задержал лейтенант Бернард Б. О'Хара из американской Третьей армии. Я был на мотоцикле, без оружия. Мне полагалась униформа – голубая с золотом, но я ее не носил. На мне была штатская одежда – синий шерстяной костюм и изъеденное молью пальто с меховым воротником.

Случилось так, что за два дня до этого Третья армия заняла Ордруф – первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня отвезли туда и заставили смотреть на все это – засыпанные известью ямы, виселицы, столбы для порки и на горы трупов с вспоротыми животами, в стружьях, с вылезшими из орбит глазами. Американцы хотели показать, к чему привела моя деятельность.

На виселицах Ордруфа можно было повесить одновременно шестерых. Сейчас там на каждой веревке болталось по охраннику. Ясно, что меня тоже собирались вздернуть. Я в этом не сомневался и с интересом смотрел, как спокойно висят на веревках шесть охранников. Они умерли быстро.

За этим занятием меня и сфотографировали. Позади стоял лейтенант О'Хара, тощий, как молодой волк, и полный ненависти, как гремучая змея.

Фотографию поместили на обложку журнала «Лайф», и она чуть не получила Пулитцеровскую премию.

Глава 8

Auf wiedersehen...

Меня не повесили.

Я совершил государственную измену, преступления против человечности и собственной совести, но остался жив. Вышел сухим из воды, потому что на протяжении всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии. Кодом могли быть подчеркнутая манерность речи, паузы, фразовое выделение, покашливание и даже запинки в ключевых предложениях. Я никогда не видел тех, кто давал мне инструкции, указывая, в каких местах передачи использовать данные приемы. До сих пор я не знаю, какая информация проходила через меня. По простоте кодов предполагаю, что просто отвечал «да» или «нет» на вопросы, которые задавались настоящим агентам. Иногда, как, например, во время подготовки высадки в Нормандии, инструкции усложнялись, и тогда моя речь звучала, как у больного в последней стадии двухсторонней пневмонии.

В этом заключалась моя помощь союзникам. И именно она спасла мою шею от веревки.

Мне обеспечили прикрытие. Американским агентом меня так и не признали, но мое дело прикрыли. Освободили по причине не существующих документов о моем гражданстве и помогли скрыться.

В Нью-Йорк я вернулся под вымышленным именем, тогда и начал новую жизнь на чердаке с крысами и видом на тайный садик.

Обо мне забыли – и настолько, что я вернул себе прежнее имя, и никто не подозревал, что я тот самый Говард У. Кэмпбелл-младший.

Иногда я видел свое имя в газете или журнале – не отдельно, как имя некоей важной персоны, а в длинном списке исчезнувших военных преступников. Ходили слухи, будто я скрываюсь в Иране, Аргентине, Ирландии... Говорили, что израильские агенты ищут меня повсюду.

И все же пока ни один агент не постучался в мою дверь. Никто не пришел за мной, хотя каждый мог прочесть на моем почтовом ящике: «Говард У. Кэмпбелл-младший».

Ближе всего к разоблачению я был под конец своего пребывания в чистилище Гринич-Виллидж, когда обратился к доктору еврею, жившему со мной в одном доме. У меня воспалился большой палец.

Доктора звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на втором этаже. Они недавно что въехали.

Я назвал свое имя, для доктора оно ничего не значило, но мать наострила уши. Эпштейн был молод, только что окончил медицинский институт. У матери, грузной, неповоротливой, морщинистой старухи, был печальный, настороженный взгляд.

– У вас известная фамилия, – сказала она. – Вы это наверняка знаете.

– Простите?

– Вы знаете кого-нибудь по имени Говард У. Кэмпбелл-младший? – спросила старуха.

– Думаю, где-нибудь такой найдется.

– Сколько вам лет?

Я ответил.

– Тогда вы должны помнить войну.

– Хватит о войне, – попросил ее сын ласково, но твердо. Он бинтовал мой палец.

– И вы никогда не слышали радиопередач Говарда У. Кэмпбелла-младшего из Берлина? – поинтересовалась она.

– Теперь вспомнил, – кивнул я. – Совсем забыл. Так давно это было. Сам я его не слышал, но помню, что он работал в «новостях». Подобные вещи быстро забываете.

– Их надо забывать, – убежденно произнес доктор Эпштейн. – Они из того безумного времени, которое нужно забыть как можно скорее.

– Освенцим, – промолвила мать.

– Забудь про Освенцим!

– Вы знаете, что такое Освенцим? – спросила меня старуха.

– Да, – ответил я.

– Там я провела свои молодые годы, а мой сын – детство.

– Я никогда об этом не вспоминаю! – резко бросил доктор Эпштейн. – Так вот – через пару дней с вашим пальцем все будет в порядке. Держите его в тепле и не мочите. – Он подтолкнул меня к двери.

Я был уже на пороге, когда мать окликнула меня:

– Sprechen Sie Deutsch?

– Простите?

– Я спросила, говорите ли вы по-немецки?

– Нет, – покачал головой я. – Боюсь, что нет. Nein, – постарался как можно неувереннее произнести я. – Это ведь значит «нет», правда?

– Очень хорошо, – похвалила она.

– Auf wiedersehen, – сказал я. – Ведь так прощаются?

– До скорой встречи, – произнесла она.

– Ну, тогда – auf wiedersehen.

– Auf wiedersehen.

Глава 9

Появление моей волшебной крестной

Американцы завербовали меня в агенты в 1938-м, за три года до вступления Америки в войну. Это произошло одним весенним днем в берлинском парке Тиргартен. Тогда я уже месяц был женат на Хельге Нот. Мне исполнилось двадцать шесть лет. Я был преуспевающим драматургом и писал на немецком языке, который знал лучше других. Моя пьеса «Чаша» шла и в Берлине, и в Дрездене. Еще одна, «Снежная роза», готовилась к постановке в Берлине. Я только закончил третью «Семьдесят раз по семь». Все три пьесы были написаны в духе средневековых романов и от политики были так же далеки, как шоколадные эклеры.

Сидя в солнечный день в парке на скамейке, я обдумывал четвертую пьесу, которая понемногу обретала в моих мыслях форму. Пришло и название «Das Reich der Zwei» – «Государство двоих».

Эта пьеса будет о нашей любви с женой. В ней двое любящих друг друга людей спасаются в этом безумном мире, оставаясь верными государству, состоящему только из них, – государству двоих.

На скамейку напротив сел средних лет американец. Вид у него был глуповатый, как у заядлого болтуна. Он развязал шнурки на ботинках, чтобы дать отдых ногам, и стал читать чикагскую «Санди трибюн» месячной давности. Три статных офицера СС прошли по дорожке между нами. Когда они удалились, мужчина отложил газету и заговорил со мной на английском с чикагским выговором.

– Красивые ребята, – произнес он.

– Не спорю, – согласился я.

– Вы говорите по-английски?

– Да, – ответил я.

– Слава Богу, хоть кто-то здесь знает английский. Я с ног сбился, пытаюсь найти человека, с кем можно поговорить.

– Даже так?

– Что вы думаете обо всем этом, – начал он, – или здесь не разрешается задавать подобных вопросов?

– О чем именно?

– О том, что происходит в Германии. О Гитлере, евреях и прочем.

– Такие вещи от меня не зависят, и я предпочитаю не думать о них.

Он кивнул:

– Не ваша нужда, так?

– Простите? – не понял я.

– Я хотел сказать – не ваше дело.

– Да, – подтвердил я.

– Вы меня не поняли, когда я сказал «нужда» вместо «дела»?

– Это, наверно, сленг?

– В Америке так говорят. Не возражаете, если я к вам подсяду? Тогда не придется кричать.

– Как вам угодно.

– Как вам угодно, – повторил он, пересаживаясь ко мне. – Так может сказать англичанин.

– Я американец.

Он удивленно поднял брови:

– Неужели? Я пытался определить вашу национальность, но не сумел.

– Благодарю вас.

– Вы считаете это комплиментом? Поэтому сказали «благодарю вас»?

– Не комплиментом, но и не оскорблением, – объяснил я. – Национальность меня не интересует, как, возможно, должна была бы интересовать.

Мой ответ, казалось, озадачил его.

– Простите, а кто вы по профессии?

– Писатель, – ответил я.

– Вот как? Какое совпадение. Я как раз сидел здесь и сожалел, что не умею сочинять: у меня в голове крутится интересная шпионская история.

– Любопытно.

– Могу подарить ее вам. Мне все равно не написать.

– У меня сейчас достаточно сюжетов – с ними бы справиться.

– А вдруг наступит момент, когда колодец иссякнет, и тогда вы сможете использовать мою историю? Итак, молодой американец живет в Германии, и живет так долго, что практически сам стал немцем. Он пишет пьесы на немецком языке, женат на красивой немецкой актрисе и знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые обожают вращаться в театральных кругах. – И американец на одном дыхании протараторил имена крупных нацистов и нацистов рангом ниже – всех тех, кого мы с Хельгой хорошо знали.

Нельзя сказать, что мы с Хельгой обожали нацистов, но и ненависти к ним не испытывали. Они составляли большую и наиболее восторженную часть нашей публики и играли важную роль в обществе, в котором мы жили.

Они были людьми.

Только со временем я стал понимать, какой страшный они оставили след.

Честно говоря, мне и сейчас трудно так думать. Я слишком хорошо знал их с другой стороны и в свое время старался завоевать доверие и аплодисменты этих людей.

Очень старался.

Аминь.

Очень старался.

– Кто вы? – спросил я человека из парка.

– Позвольте, я сначала доскажу свою историю, – произнес он. – Так вот, молодой человек знает, что надвигается война, и догадывается, что Америка будет на одной стороне, а Германия – на другой. И этот американец, который до сих пор был просто на дружеской ноге с нацистами, решает сам прикинуться нацистом и, оставшись на время войны в Германии, становится незаменимым американским шпионом.

– Так вы знаете, кто я?

– Конечно, – ответил мой собеседник. Достав бумажник, он показал мне удостоверение американского Военного ведомства на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения. – А вот кто я. И я предлагаю вам стать американским агентом разведки, мистер Кэмпбелл.

– О, боже! – воскликнул я. В моем голосе прозвучали злость и обреченность. Я весь как-то сник. Но потом выпрямился и заявил: – Это просто нелепо. Нет, черт возьми, нет!

– Что ж, я не слишком расстроен, – сказал он. – Ведь окончательный ответ вы дадите не сегодня.

– Если вы воображаете, будто я, вернувшись домой, сразу начну обдумывать ваше предложение, то заблуждаетесь, – промолвил я. – Дома меня ждет вкусный обед в обществе красавицы жены, мы будем слушать музыку, заниматься любовью, а потом я крепко засну. Я не солдат, не политик, а художник. Если начнется война, я не приму в ней участие, а буду продолжать заниматься своим мирным ремеслом.

Майор покачал головой:

– Я желаю вам, мистер Кэмпбелл, всего самого хорошего, но эта война никого не оставит в покое. Жаль вас расстраивать, но чем хуже пойдут дела у нацистов, тем меньше у вас шансов крепко спать по ночам.

– Посмотрим, – усмехнулся я.

– Да. Вот почему я сказал, что ваш ответ не окончательный. До него надо дорасти. И если вы скажете «да», что вам придется действовать самостоятельно и добиться высокого положения у нацистов.

– Занимательно.

– Да, – кивнул майор. – Вы будете настоящим героем, в сто раз более смелым, чем обычный человек.

Сухопарый, с хорошей военной выправкой генерал вермахта и тучный штатский с портфелем прошли мимо, говоря о чем-то со сдержанным волнением.

– Добрый день, – дружелюбно приветствовал их майор Виртанен.

Они лишь усмехнулись и даже не обернулись.

– С началом войны вы добровольно подписываетесь на то, что с вами все может случиться. Даже если вас не раскроют во время войны, готовьтесь к тому, что ваша репутация погибнет, и вам не для чего будет жить, – продолжил майор.

– Звучит заманчиво, – заметил я.

– Думаю, для вас это может быть заманчивым. Я видел вашу пьесу и читал другую, которую скоро поставят.

– Что вы из них узнали?

Майор улыбнулся:

– Вас восхищают чистые сердца и настоящие герои. Любите добро и ненавидите зло. И еще – верите в романтику.

Он не назвал основную причину, которая могла подвигнуть меня заняться шпионажем. Я любил играть на публику. А в качестве шпиона, как я понял, у меня будут неограниченные возможности актерствовать. Одурачу всех, блестяще прикидываясь нацистом, и в Германии и за ее пределами.

И я действительно всех одурачил. Стал вести себя как верный помощник Гитлера, и никто не знал, кто я на самом деле, так глубоко я прятал свои чувства.

Могу я доказать, что был американским агентом? Мое главное вещественное доказательство – невредимая, лилейно-белая шея, и это одно доказательство, какое у меня есть. Я приглашаю всех – тех, кто считает меня виновным, или, напротив, невиновным в преступлениях против человечности, обследовать ее.

Правительство Соединенных Штатов не подтверждает, но и не отрицает того, что я являлся американским агентом. Хорошо, что хоть не отрицает.

Но оно сразу отнимает у меня последнюю надежду, утверждая, будто Фрэнк Виртанен никогда не служил в Военном ведомстве. Никто не верит в его существование, кроме меня. Так что с этого момента я стану называть его Моей Волшебной Крестной.

Среди многих вещей, поведенных мне Волшебной Крестной, были пароль и ответ, по которым я должен был узнать, в случае начала войны, своих связных.

Пароль: «Новый друг – хорош!»

Ответ: «Но старого держись!»

Мой здешний адвокат – Элвин Добрович, опытный защитник. В отличие от меня он вырос в Америке и рассказал, что пароль и ответ взяты из песни, которую поют идеалистически настроенные американские девушки из «Брауниз»¹⁰. Он процитировал из нее куплет:

¹⁰ Организация, подобная скаутской; основана в 1914 году.

Новый друг – хорош!
Но старого держись!
С ним не пропадешь,
Он – на всю жизнь!

Глава 10

Романтика...

Жена так и не узнала, что я был шпионом.

Я ничего не потерял бы, рассказав ей об этом. Она не стала бы любить меня меньше. Признание не несло никакой угрозы. Но могло превратить божественный мир моей Хельги, почти Книги Откровений, в прозаическое существование.

С нее хватило и войны.

Моя Хельга считала, будто я верю в те идиотские вещи, которые говорю по радио и в гостях. А в гости мы ходили постоянно. Мы всем нравились – такая веселая, патриотичная пара! Люди говорили, что мы приносим хорошее настроение – им хочется жить и действовать. Хельга была не просто разряженной красоткой. Она выступала перед войсками – часто под звуки вражеских орудий.

Вражеских орудий? Чьих-то орудий, скажем так.

Из-за этого я ее и потерял. Она развлекала воинские части в Крыму, но русские отбили его. Хельга считалась погибшей.

После войны я заплатил большие деньги частному детективному агентству в Западном Берлине, чтобы отыскать ее след. В результате – ничего. По договору, не имеющему срока давности, в случае безусловных доказательств, что она жива или погибла, я выплачиваю агентству дополнительно десять тысяч долларов.

Ну, и что?

Хельга верила моим словам о расах и механизмах истории, и я был ей благодарен. Неважно, кем я являлся и что в действительности думал, но нуждался в самозабвенной любви, и Хельга была тем ангелом, который дарил мне такую любовь.

В изобилии.

Нет на свете ни одного молодого человека, настолько совершенного, чтобы не нуждаться в слепой любви. Бог мой, юнцы участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, хотя слепая любовь – единственно подлинное сокровище, какое им нужно.

Das Reich der Zwei, государство двоих. Эта территория – моя и Хельги, которую мы ревниво оберегали, была немногим больше нашей огромной двуспальной кровати. Ровная, стеганая, пружинистая территория, на которой мы с Хельгой были горами.

Не зная в жизни ничего, что имело бы смысл, кроме любви, каким я был знатоком географии! Какую карту нарисовал бы я для крошечного туриста, микроскопического Wandervogel¹¹, путешествующего на велосипеде между родинкой и золотыми завитками по обе стороны пупка Хельги. Если подобное зрелище безвкусно, помоги мне, Боже! Для психического здоровья игры необходимы. Я просто описал взрослый вариант игры «Этот маленький поросенок» – в нее мы любили играть.

О, как мы сжимали друг друга в объятиях – Хельга и я; обнимаясь, мы теряли голову!

Мы даже не разбирали слов. Только слышали мелодии наших голосов. И в них было не больше смысла, чем в мурлыкании и урчании больших кошек. Если бы мы слушали больше, вдумываясь в то, что говорим, то были бы тошнотворной парой. Однако, покинув суверенную территорию нашего «государства двоих», мы говорили в духе остальных психопатичных патриотов вокруг нас.

¹¹ Юный турист (нем.).

Но все это было неважным. Важно было только одно – государство двоих. А когда это оно перестало существовать, я стал тем, кем являюсь сейчас и кем буду всегда – человеком без гражданства.

Не могу сказать, что меня не предупреждали. Майор, завербовавший меня тем давним весенним днем в парке Тиргартен, точно предсказал мое будущее.

– Чтобы хорошо выполнять свою работу, – сказала Моя Волшебная Крестная, – вам придется совершить государственную измену и верно служить врагу. Вам никогда этого не простят, потому что нет такой юридической лазейки, которая помогла бы вас оправдать. Самое большее, что мы сможем сделать, – это спасти вашу шею. Но никогда не будет такого волшебного момента, что обвинение прилюдно снимут, и вся Америка позовет вас выйти из тени: «Раз, два, три – нет игры».

Глава 11

Неизрасходованные армейские запасы...

Мои родители умерли. Некоторые говорят, их сердца были разбиты. Они умерли на седьмом десятке, когда сердца разбиваются особенно легко.

Родители не дожили до конца войны, так и не увидев своего излучающего оптимизм сыночка. Меня не лишили наследства, хотя, наверное, соблазн был велик. Скрепя сердце, они завещали Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, известному антисемиту, предателю и радиозвезде, ценные бумаги, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание вступило в силу, составляла сорок восемь тысяч долларов.

Стоимость всего этого, пройдя как через бурный рост экономики, так и через инфляцию, выросла в четыре раза и приносит мне семь тысяч долларов в год рентного дохода.

Хотите верьте – хотите нет, но к основному капиталу я не притрагивался.

В послевоенные годы я, чужак и отшельник из Гринич-Виллидж, жил примерно на четыре доллара в день, включая квартирную плату, и у меня был даже телевизор. Все мое новое имущество состояло из армейских остатков, как и я сам, – узкая железная койка, серо-коричневые одеяла со штампом «США», складные парусиновые стулья, столовые наборы из котелков, в которых можно готовить и из которых можно есть. И даже моя библиотека была составлена из неиспользованного военного имущества, своего рода «развлекательные комплекты» для военных частей за океаном.

В эти «комплекты» входили и грампластинки, и поэтому я раздобыл себе – тоже из армейских запасов – портативный граммофон, о котором сообщалось, что он может работать в любом климате – от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая эти «развлекательные комплекты», а каждый из них был «котом в мешке», я стал обладателем двадцати шести пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби¹². Пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье приобретены из того же источника.

Купив за один доллар аптечку первой медицинской помощи, я обрел некоторое количество морфия. Гиены, делающие бизнес на армейских запасах, настолько набили брюхо падалью, что это проглядели.

Я чуть не поддался искушению сделать себе укол морфия, решив, что, если это доставит мне радость, у меня хватит средств и впредь на подобное удовольствие, но потом понял, что я и так под наркотиком.

Я не чувствовал боли.

Наркотик, на какой я подсел во время войны, – бесчувствие ко всему, кроме моей любви к Хельге. Направленность чувств на один объект, начавшаяся как счастливая иллюзия влюбленного молодого человека, со временем стала механизмом, помогавшим в военное время не превратиться в сумасшедшего, а потом – и постоянной осью, вокруг которой витали мои мысли.

Поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти, как идолопоклонник или как узколобый религиозный шизик. Оставшись один, поднимал за нее тосты, здоровался с ней по утрам, говорил «спокойной ночи», играл для нее и плевал на все остальное.

И вот в 1958 году, после тринадцати лет такой жизни я купил, опять же из оставшихся военных запасов, набор для резьбы по дереву. Теперь это были излишки с другой войны – корейской. Я приобрел его за три доллара.

¹² Американский певец и актер.

Вернувшись домой, я без всякой надобности стал вырезать ручку для метлы. Неожиданно мне пришла в голову мысль – самому сделать шахматы. Я говорю о неожиданности решения, потому что меня поразило, с каким энтузиазмом я принялся за работу. Я был так увлечен, что трудился двенадцать часов подряд, несмотря на то, что несколько раз травмировал острыми инструментами ладонь левой руки. Меня это не останавливало. Когда я закончил работу, весь запачканный кровью, воодушевление переполняло меня. Результатом моих трудов стал замечательный набор шахматных фигур.

Но у меня возникло одно странное желание. Я почувствовал необходимость показать кому-нибудь из еще живущих это удивительное творение своих рук.

Возбужденный и осмелевший от творчества и спиртного, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не имея представления, кто он.

Моим соседом оказался хитрый старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле его звали Иона Потапов, полковник. Старый сукин сын был русским агентом и с 1935 года постоянно работал в Америке.

Этого я не знал.

Кем был я, он поначалу тоже не догадывался.

Нас свела судьба. Никаким умыслом здесь и не пахло. Я просто нарушил его уединение, постучавшись в дверь. Если бы я не вырезал шахматные фигуры, мы никогда бы не познакомились.

У Крафта – так я буду его называть, потому что привык – дверь запиралась на три или четыре замка. Я заставил его открыть все, спросив, не играет ли он в шахматы. Только это и побудило старика открыть мне дверь.

Люди, помогавшие мне позднее в наведении справок, рассказывали, что имя Ионы Потапова гремело на европейских шахматных турнирах в начале тридцатых годов. В 1931-м в Роттердаме он разгромил гроссмейстера Тартаковера.

Когда Крафт открыл дверь, я понял, что оказался в гостях у художника. Посреди комнаты стоял мольберт с чистым холстом, а вокруг на стенах висели потрясающие картины.

Говоря о Крафте, то есть о Потапове, я чувствую себя гораздо увереннее, чем когда упоминаю о Виртанене, настоящего имени которого никогда не узнаю. Оставленный Виртаненом след не больше следа крошечного червяка, ползущего по бильярдному столу. А Крафт повсеместно известен. Говорят, картины Крафта продаются в Нью-Йорке по десять тысяч долларов каждая.

У меня под рукой есть вырезка двухнедельной давности из «Нью-Йорк гералд трибюн» от 3 марта, где один критик рассуждает о Крафте как о живописце:

«Наконец мы видим способного и благодарного наследника той фантастической изобретательности и экспериментирования в живописи прошедшего столетия. Говорят, Аристотель был последним, кто понимал суть культуры своего времени. Крафт же, несомненно, – первый человек, который понимает современное искусство, чувствует его всеми фибрами души.

С неподражаемым изяществом и решительностью сочетает он эстетику враждующих художественных школ прошлого и настоящего. Крафт приводит нас в восторг, заставляет склонить голову и как бы говорит: “Если вы жаждете нового Возрождения, вот такими будут картины, выражающие его духовный подъем”.

Джордж Крафт, он же Иона Потапов, получил разрешение продолжать свою уникальную карьеру художника в Федеральной тюрьме Ливенуорт. Мы все хорошо понимаем, в том числе и сам Крафт – Потапов, как быстро рухнули бы его планы, окажись он в своей российской тюрьме».

В тот самый момент, когда Крафт открыл дверь, я уже с порога понял, что его картины хороши. Но не думал, что настолько хороши. Подозреваю, что рецензию написал какой-нибудь гомик, накачавшийся бренди «Александр».

– Не ожидал, что подо мной живет художник, – произнес я.

– Может, вы преувеличиваете? И он не живет? – ответил Крафт.

– Великолепные картины! – воскликнул я. – Где вы выставляетесь?

– Да нигде.

– Жаль. Вы бы сколотили целое состояние.

– Приятно слышать, – промолвил Крафт. – Но я начал рисовать слишком поздно. – Потом он рассказал мне то, что можно было бы назвать историей его жизни, не будь все ложью.

По словам Крафта, он вдовец из Индианаполиса. В молодости хотел стать художником, но занялся бизнесом – торговал красками и обоями.

– Моя жена умерла два года назад, – сказал он и, изловчившись, сумел выдавить скупую слезу. У него действительно была жена, но она не покоилась в земле Индианаполиса.

Его более чем живая жена Таня жила в Борисоглебске. Крафт не видел ее двадцать пять лет.

– Когда она умерла, – рассказывал он, – я совсем пал духом. У меня было только два пути: самоубийство или воплощение мечты юности. И я, старый дурак, выбрал мечту молодого дурака. Купив холст и краски, я приехал в Гринич-Виллидж.

– А детей у вас нет? – спросил я.

– Нет, – печально ответил он. На самом деле у него трое детей и девять внуков. А старший сын Илья – известный специалист в ракетостроении.

– Единственное, что роднит меня с миром, – это искусство, – продолжил Крафт, – а я беднейший из его родственников.

Крафт имел в виду не свое бедственное материальное положение, а то, что он плохой художник. По его словам, он богат. Бизнес в Индианаполисе удалось продать за хорошие деньги.

– Шахматы, – поменял ход разговора Крафт. – Вы что-то говорили о шахматах?

Я показал ему шахматные фигуры, принесенные мной в коробке из-под обуви.

– Я только что изготовил их, – объяснил я. – И меня охватило неодолимое желание попробовать их в игре.

– Наверное, хорошо играете? – поинтересовался он.

– Вряд ли. Давно не играл, – признался я.

В шахматы я сражался в основном со своим тестем Вернером Нотом, шефом берлинской полиции. Я обыгрывал тестя почти постоянно по воскресеньям, когда мы с Хельгой навещали его. Единственный шахматный турнир, в котором я участвовал, проходил в стенах Министерства народного просвещения и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.

В пинг-понг я играл гораздо лучше. Четыре года подряд был чемпионом министерства в одиночной и парной играх. В паре я играл с Хайнцем Шильдкнехтом, экспертом по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Однажды Хайнц и я играли против пары – рейхслейтер Геббельс и оберденстлейтер Карл Хедрих. Мы обыграли их со счетом 21–2, 21–1, 21–0.

История часто идет рука об руку со спортом.

У Крафта была шахматная доска. Расставив на ней мои фигуры, мы начали играть. И плотный, колющий кокон цвета хаки, в котором я укрылся от мира, слегка треснул и, ослабев, впустил в себя бледный луч света. Я получал удовольствие от игры, интуитивно создавая интересные комбинации, так что моему новому другу было интересно играть и обыгрывать меня.

С тех пор мы с Крафтом играли не менее трех партий в день – и так в течение года. У нас создалось некое трогательное подобие семьи, в которой мы оба нуждались. Мы вновь почувствовали интерес к еде, делали маленькие открытия в местных лавочках и делились находками

друг с другом. Помню, когда в магазинах появилась клубника, мы с Крафтом чуть не прыгали до потолка от экстаза, словно стали свидетелями второго пришествия Христа.

Очень трогательно обстояло дело с вином. О винах Крафт знал гораздо больше меня и часто приносил к столу настоящие сокровища, затянутые паутиной лет. Но хотя перед Крафтом всегда, когда мы садились за стол, стоял бокал с вином, все вино выпивал я. Крафт был алкоголик. От одного глотка вина он сразу же слетал с катушек и погружался в запой, который мог продолжаться месяц.

Из всего, что он рассказывал о себе, только это было правдой. Шестнадцать лет Крафт состоял в Обществе анонимных алкоголиков. И хотя он использовал собрания общества для встреч со связным, его интерес к проводимой там духовной работе был неподдельным. Однажды Крафт заметил, что изобретение Общества – величайший подарок Америки человечеству, о котором будут помнить тысячи лет.

Для шпиона-шизофреника, каким он являлся, характерно использовать в шпионских целях столь почитаемую им организацию.

Столь же характерно для такого шпиона-шизофреника испытывать ко мне истинно дружеские чувства и в то же время прикидывать, как можно использовать эту дружбу в интересах России.

Глава 12

Странные вещи в моем почтовом ящике...

Первое время я лгал Крафту, скрывая, кто я на самом деле и чем занимался. Но наша дружба так быстро росла и крепла, что вскоре я открылся ему.

– Какая несправедливость! – воскликнул он. – Мне стыдно, что я американец. Почему правительство не вмешается и не скажет: «Послушайте, вы! Человек, которого вы унижаете, герой!» – Крафт был возмущен, и, насколько я его знал, возмущен искренне.

– Никто меня не унижает, – возразил я. – Никто даже не знает, жив ли я.

Крафту не терпелось прочитать мои пьесы. Узнав, что у меня нет ни одного экземпляра, он заставил меня пересказывать каждую пьесу сцену за сценой – играть их для него. Заявил, что пьесы великолепны. Возможно, его слова были искренними. Не знаю. Мне пьесы представлялись несколько хаотичными, но не исключено, что они ему действительно понравились.

Мне кажется, он просто влюблен в само искусство, а не в то, что вышло из-под моего пера.

– Искусство, искусство, искусство, – сказал Крафт мне однажды вечером. – Почему мне потребовалось столько времени, чтобы понять его значение? В молодости я относился к искусству с презрительным высокомерием. А теперь, когда о нем думаю, хочется упасть на колени и плакать.

Была поздняя осень. Вернулся сезон устриц, и мы поедали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом примерно год.

– Говард, будущие цивилизации – лучшие, чем наша, – станут оценивать людей по способности к искусствам. Нас с тобой, если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, будут судить по качеству наших произведений. Ничто другое не будет иметь значения.

– Неужели? – недоверчиво пробурчал я.

– Тебе надо снова сочинять. Маргаритки цветут, как положено маргариткам, розы – как положено розам, ты же должны раскрыться как писатель, а я – как художник. В остальном мы не интересны.

– Мертвецы хорошо не пишат, – отозвался я.

– Ты не мертвец! – возмутился Крафт. – Ты полон идей. Часами можешь говорить.

– Пустые слова.

– Нет, не пустые! Все, что тебе нужно для этого, – женщина. И ты будешь сочинять еще лучше.

– Что нужно? – переспросил я.

– Женщина, – ответил Крафт.

– Откуда у тебя такие мысли? – поинтересовался я. – Устрицами объелся? Может, ты начнешь, а я – потом?

– Нет, я слишком стар, мне это не принесет пользы, а вот тебе – поможет.

В который раз, пытаясь отделить истину от фальши, я прихожу к выводу, что Крафт действительно так думал. Он хотел, чтобы я снова стал писать, и верил, что для этого необходима женщина.

– Я даже готов пойти на унижение и попытаться снова быть мужчиной, если ты тоже найдешь женщину.

– У меня есть женщина, – промолвил я.

– У тебя была женщина, – поправил Крафт. – Это большая разница.

– Я не хочу об этом говорить.

– А я все равно буду!

– Что ж, говори, – усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. – Изображай свата, сколько хочешь. А я пойду вниз, посмотрю, что хорошего принес сегодня почтальон.

Разговор раздражал меня, и я двинулся вниз не только для того, чтобы заглянуть в почтовый ящик. Просто хотел успокоиться. Я не жаждал увидеть почту – часто по несколько дней я не заглядывал в почтовый ящик. Что мне приносили? Чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, разная чепуха, адресованная «владельцу почтового ящика», рекламы книг и аппаратов, якобы полезных в области образования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.